

C-375 -

- с.р.

2618 1/2 р

Константин Симонов

СЕРЬЕЗНЫЙ
РАЗГОВОР

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ
МОСКВА — 1945

Цена 25 коп.

V.N. Karazin Kharkiv National University



00762370

3

8 C112

32B9

1915

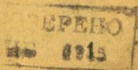
С375ср

ЭТОТ разговор произошёл несколько недель тому назад на аэродроме между корреспондентом одной из крупных американских газет, назовём его мистером Лесли, летевшим в Москву после посещения Люблина, и командиром стрелкового полка майором Панкратьевым, после ранения также летевшим в Москву для свидания с семьёй.

Разговор этот начался при следующих самых простых обстоятельствах. Погода, как это часто случается в зимние месяцы, была в общем совсем не лётная, но лётчик, как это тоже часто случается с русскими лётчиками, всё-таки собирался лететь и поджидал, если не совсем хорошей, то хоть сколько-нибудь менее угрожающей метеосводки.

Самолёт был не рейсовый, а бомбардировщик, на который лётчик брал всего только этих двух пассажиров. Таким образом, оба они — и мистер Лесли, и майор Панкратьев — были обречены на вынужденное сиденье в одной из пустых комнат аэропорта с глазу на глаз.

1. Серьезный разговор



58

26/8/5р.

Майор Панкратьев, пожалуй, не заговорил бы первым, ибо он вообще был неразговорчив, а, кроме того, он не предполагал, что этот иностранец знает русский язык.

Мистер Лесли, напротив, с самого начала, оставшись наедине с майором, был весьма расположен заговорить с ним, во-первых, потому, что он был прежде всего корреспондентом и никогда не считал лишним побеседовать со случайно встреченным человеком, а, во-вторых, потому, что хотя он и неплохо знал русский язык, но всегда считал полезным попрактиковаться.

Разговор начался с того, что мистер Лесли предложил майору Панкратьеву сигарету и спросил, также ли Панкратьев летит до Москвы, как и он, Лесли. Панкратьев, в свою очередь, предложил ему папиросу и сказал, что да, совершенно верно, он тоже летит в Москву.

— Откуда? — спросил мистер Лесли.

— Последнее моё местопребывание — госпиталь, а до этого, недели полторы тому назад, был в Восточной Пруссии.

— Значит, впервые воевали за границей? — спросил мистер Лесли.

— Нет, почему же, — сказал Панкратьев, — приходилось и раньше.

Мистер Лесли поднял глаза на Панкратьева и впервые окинул его более внимательным взглядом. Панкратьев был одет в армейскую шинель, аккуратную, но, видимо, не раз побывавшую в переделках. Она была расстёгнута, и из-под неё

виднелся орден Красного Знамени. Судя по тому, что орден был привинчен с краю, надо было предполагать, что за ним следовали и другие ордена, но какие — мистер Лесли не мог разглядеть. Сапоги на майоре были грубые, армейские, шапка фронтовая, бобриковая. На вид майору можно было дать лет сорок пять — возраст довольно редкий для майора кадровой армии, но, пожалуй, довольно обычный для человека, пришедшего из запаса. Тем не менее, майор не производил впечатления человека, пришедшего из запаса; военная форма сидела на нём как-то особенно привычно.

— Что, раньше в Испании воевали? — спросил Лесли.

— В Испании? Нет. Почему в Испании? — сказал Панкратьев. — Где сейчас, там и раньше воевал: в Восточной Пруссии.

— Сколько же вам лет? — спросил мистер Лесли.

— Пятьдесят три.

— Неужели? Вы молодо выглядите.

— В самом деле?

— В самом деле.

— От лёгкой жизни, должно быть, — сказал Панкратьев, чуть заметно усмехнувшись.

— Ну, это вы, положим, несерьёзно, — сказал мистер Лесли, — я бы не назвал вашу жизнь лёгкой.

— Почему же? — сказал Панкратьев. — Когда совесть чиста, то и на душе легко, а когда на

душе легко, тогда и жить как-то легче. А что потопать много пришлось от Сталинграда до Танненберга, так это на ногах сказывается, ревматизм иногда мучает, а по лицу не видно.

— Неужели пятьдесят три?

— Пятьдесят три. Ещё молодым унтером в Восточной Пруссии был в 1914 году.

— Замечательно сейчас идёт ваше наступление, — сказал мистер Лесли.

— Да, хорошо.

— Вот когда качества старого русского солдата проявились в полной мере, — сказал мистер Лесли. — В конце концов, как бы ни было трудно, но великие традиции сказываются в народе. Когда я читаю и слушаю об этом наступлении, мне невольно вспоминаются и Полтава, и Рымник, и ваш Скобелев, и ваш Брусиллов.

— Традиции хорошие, что и говорить, — согласился Панкратьев.

Мистеру Лесли, который в кругу журналистов считался знатоком русской истории и в самом деле её неплохо знал, захотелось щегольнуть неожиданными подробностями. Он встал с места и прошёлся несколько раз взад и вперёд по комнате.

— То поистине суворовское упорство, с которым сейчас дерутся ваши войска, напоминает мне трехкратные суворовские атаки при Нови.

— Да, конечно, — после некоторой паузы сказал Панкратьев, — напоминает. А мне еще больше напоминает то, как мы при форсировании

Днепра дрались. Тоже упорные бои были. До десяти атак в день у нас в дивизии доходило.

— Да, всё меняется, — сказал Лесли, — всё. И правительства, и государственный строй, но великолепные свойства русского солдата остаются неизблемыми.

— Почему же неизблемыми? — заметил Панкратьев. — Я бы этого не сказал.

— Вы отрицаете это? — быстро спросил Лесли.

— Не то, что отрицаю, но не совсем согласен. Неизблемо — это ведь когда ничего не меняется, а перемены большие.

— В чём же вы видите перемены? — спросил Лесли, который в последнее время, увлечённый успехами русского оружия, специально перелистывал книги, имевшие касательство к русской военной истории. Он искал аналогий, свидетельствовавших о неизменных традициях русской солдатской храбрости и выносливости.

— Как вам ответить? — сказал Панкратьев. — На такой вопрос ответить сразу трудно. Я не историк и не писатель. Я могу сказать только о своей жизни и о тех людях, которых я видел своими глазами.

— Тем интереснее, — сказал мистер Лесли.

— Ну, что же. — Панкратьев задумался. — Видите ли... Может быть, вы мне сейчас и не поверите, скажете, что я думаю задним числом, но я в ту войну не был доволен своей армией. Было у меня какое-то чувство горечи по отношению ко всему происходившему. Я служил унтер-офице-

ром, но горечь была. Я и тогда чувствовал, что мы можем по своим качествам воевать лучше немцев. Но сейчас я это вижу. Мы и в самом деле воюем лучше их. А тогда я это только чувствовал, а воевали мы не лучше их, а иногда и хуже.

— Вы давно сейчас в России? — вдруг, прервав свою речь, спросил Панкратьев у мистера Лесли.

— С 1942 года.

— Значит вы, верно, читали доклад Сталина в 1942 году, где он подсчитывал, сколько немецких дивизий противостояло нам в ту и в эту войну?

— Читал, — сказал Лесли.

— Так вот, я думаю, что по нынешним нашим силам и умению, если бы против нас стояло то, что стояло в ту войну — восемьдесят пять немецких дивизий, так мы бы ещё в позапрошлом году были в Берлине, смею вас уверить. И, однако, тогда против нас восемьдесят пять дивизий стояли, а дальше Галиции и Восточной Пруссии мы не заходили, а сейчас против нас втрое больше стоит, и мы в Западную Пруссию вступили, и в Силезию вошли, к Познани подошли и дальше пойдём — нет сомнения. А ведь я не сказал бы, что тогда в России меньше народу мобилизовали, чем сейчас. Вот и выходит, что не только в традициях дело.

— Историю я знаю, — сказал мистер Лесли. — Вы мне хотели сказать о ваших личных впечатлениях.

— Я скажу и об этом. Помню, подходили мы

в четырнадцатом году к Инстербургу, который сейчас уже взят. И, казалось бы, вперёд шли и как будто хорошо двигались, а вот было у меня, у маленького человека, унтер-офицера, какое-то неуверенное чувство.

— Почему?

— Попробую объяснить. Сейчас, через некоторое время, это даже легко объяснить.

Я вот был из безземельной крестьянской семьи, с мальчишек жил в батраках. Не могу сказать, чтобы я не любил и тогда свою родину, нашу природу, русскую жизнь и её обычаи. Но мне поперёк этой любви становилось воспоминание о помещике господине Телятникове, у которого я работал с 12 лет за такие гроши, о которых сейчас даже смешно вспомнить. Он стоял между мною и Россией и мешал мне понять до конца, что такое Россия. И в дни войны рождалось какое-то смутное чувство, когда я вспоминал отца, убитого карателями в 1915 году, господина Телятникова, волостного старшину, который на моих глазах за налоги чуть не с руками отрывал у плакавшей матери самовар. И даже когда командир полка вешал мне на грудь солдатский крест, то, при всей торжественности минуты, горечь не исчезала. «Вот, — думалось, — сегодня ты вешаешь мне крест на грудь, а послезавтра я с войны приду домой к господину Телятникову, поклонюсь и скажу: — Сделайте милость, возьмите меня обратно в батраки, как был. — И он не посмотрит на этот твой крест, потому что крест крестом, а

земли у тебя всё равно столько, что сел на неё — и из-под тебя не видно».

— Однако вы уже, по-моему, занялись чистой пропагандой, — сказал мистер Лесли.

— Нет, я просто рассказываю вам свою жизнь, — ответил Панкратьев. — Но это только первое, о чём я хотел вам сказать.

— Теперь второе. Как раз около Инстербурга мы взяли тогда удачной атакой три линии немецких окопов. Взяли артиллерийские позиции, тяжёлую артиллерию. На той позиции, которую мы атаковали, было свыше сорока орудий, из них двенадцать тяжёлых, да таких, что мы раньше и не видели.

А нас всего две батареи трёхдюймовок поддерживали. Хорошо стреляли. Но всего две, понимаете, против сорока орудий. А остальное мы должны были уравнивать своим штыковым ударом, своей готовностью умереть. А этого от солдата не скроешь.

И если бы мы хоть знали, что Россия настолько бедна, что больше ничего не может создать нам в помощь. Но мы знали, как у нас помещики Телятниковы живут, как у нас купцы живут, как на нижегородской ярмарке миллионы проплывают.

Мы просто чувствовали, что нас вполне сознательно и цинично посылают в бой почти с голыми руками, надеясь, что мы и так осилим, а если мы умрём при этом, то ведь не они же, а

мы умрём. И это второе горькое чувство тоже надрывало сердце.

Иногда лежишь в десяти шагах от немецкой проволоки, а намотано её чорт знает сколько рядов. А сзади пушка, раз-два стрельнёт и замолчит. И вот думаешь: если бы сейчас из всех орудий, из десяти батарей ударили бы, пробили бы проход в этой проволоке, мы бы пошли на прорыв, и никто бы нас не удержал. А то лежи и режь ножницами один ряд, другой ряд, третий, пока не убьют.

— Ну, как — обратился он к мистеру Лесли, — это тоже, по-вашему, пропаганда?

— Я вас внимательно слушаю, — сказал мистер Лесли, — только мне кажется, что вы всё это рисуете в слишком чёрных красках.

— Почему же слишком чёрных? — сказал Панкратьев. — Я только говорю об обстоятельствах, в которых мы воевали, а воевать мы всё-таки воевали и неплохо, и я сам два солдатских «Георгия» получил и жив остался, и сейчас, вспоминая, думаю, что, как мог, защищал родину. Но, однако, при всём том, из песни слова не выкинешь. Что было, то было. Теперь третье, о чём стоит сказать. Когда мы уходили на войну, то в нашей роте, не считая унтер-офицеров, было 202 нижних чина, из них грамотных — человек 60, а остальные неграмотные или малограмотные; больше двух третей. Конечно, эти люди при всех своих природных качествах не могли так воевать, как если бы они были грамотными.

— А, пожалуй, это спорный вопрос, — сказал мистер Лесли. — Мне кажется, что в иных случаях неграмотный человек, не способный размышлять, может оказаться лучшим солдатом.

— А мне не кажется, — сказал Панкратьев. — Я, между прочим, совсем не думаю, что ваши солдаты на границах Германии сегодня ещё не пошли на решительный штурм потому, что они слишком грамотны. На это есть другие, очевидно, стратегические причины. А излишняя грамотность воевать никому и никогда не мешала.

— По-моему, вы немножко сердитесь, — сказал мистер Лесли. — Я ошибаюсь?

— Нет, вы не ошибаетесь, — сказал Панкратьев. — Я, пожалуй, действительно, немножко сержусь и даже не немножко, а просто сержусь. Не на ваших солдат, разумеется. Но мне часто приходилось читать, что ваши журналисты объясняют наши успехи в самых тяжёлых условиях войны тем, что наш солдат какой-то особенно неприхотливый и ко всему привычный и вполне может перенести то, что никто другой не может перенести, и поэтому он готов в самых тяжёлых условиях совершать то, на что другие люди неспособны.

И вот, когда я читаю такие вещи, нет слов, чтобы выразить, как я на это злюсь. Уверяю вас, что не меньше, чем англичанин или американец, наш солдат любит и поесть во-время, и поспать на постели, а не на снегу, и проехать на машине там, где можно ехать, а не идти пешком. И так

же ему не хочется умирать. А просто-напросто сегодня он гораздо злее на немцев, гораздо сильнее хочет скорейшего разгрома Германии, и поэтому не считает для себя непреодолимыми трудностями то, что до сих пор, к сожалению, иногда у вас за непреодолимые трудности считают.

Вот и всё. Да и, кстати сказать, сейчас наш советский боец уж, конечно, не менее грамотен, чем ваш солдат. А о грамотности старого солдата я заговорил, прежде всего, в чисто военном отношении. В пехоте, где народу убывает немало, многих людей приходится заменять на ходу. И в старой армии у нас это было трудно, потому что человека грамоте в один день не научишь. Бывало так, что все четыре «Георгия» унтер-офицер получит и его в прапорщики можно было бы произвести, а грамотность не позволяет. И армия в ту войну слабела из-за убыли старого и недостаточного притока нового офицерского состава.

— Я понимаю вас так, — сказал мистер Лесли, — что вы осуждаете кастовость старого русского офицерства. Вы считаете это одной из причин того, что русская армия воевала тогда хуже, чем теперь?

— Нет, — ответил Панкратьев, — я осуждаю гораздо большее. Я осуждаю строй, при котором возможна была такая каста, при котором образование давали слишком малому количеству людей и боялись дать его всему народу. Вот первопричина.

Кадровое офицерство выбывало каждый день, но его, в огромном большинстве случаев, нельзя

было пополнять из среды солдат и унтер-офицеров потому, что этого боялись и не хотели. К тому же русский солдат был совсем не то, что сегодня советский солдат. У него в огромном большинстве был слишком низкий культурный уровень, и при всей его храбрости из него нельзя было сделать в течение нескольких месяцев офицера.

— А вы считаете, что культурный уровень советского солдата очень отличается от культурного уровня старого солдата?

— Да, считаю, — сказал Панкратьев, — и не только считаю, но это, действительно, так. Я в старое время окончил два класса церковно-приходской школы, и этого было достаточно для того, чтобы в армии я сразу же был зачислен в школу унтер-офицеров. Два класса. А сейчас у меня в полку каждый второй боец, худо ли, хорошо ли, окончил семь или все десять классов, то-есть имеет среднее образование. А человек со средним образованием, который прошёл все ступени — от солдата до старшего сержанта, старшины — и повоевал год-другой, если у него есть при этом голова на плечах, смелость и способность решительно действовать самому и повелевать другими, — такого человека легко сделать офицером, и в девяносто девяти случаях из ста это не будет ошибкой.

— Образование советского бойца сказывается во всём. Я могу посадить его в танк, и он в два дня будет знать, что такое панорама. Я могу дать ему снайперскую винтовку, и он быстро поймёт, что

такое оптический прицел. Я сделаю его артиллерийским разведчиком, и он будет знать, что такие координаты. Я посажу его на связь, и он будет знать, как зашифровать радиограмму. Наконец, я его просто pošлю посыльным, и он передаст точно моё приказание не только потому, что зазубрит его наизусть, а просто потому, что если даже он забудет какое-то слово, то восстановит его по смыслу. Вот вам, кстати сказать, один из практических результатов того, что в 1917 году в России произошла революция. Без всякой, как вы выражаетесь, пропаганды, а просто с точки зрения командира полка, военного профессионала.

— А вы всё это время с 1914 года были в армии? — спросил мистер Лесли.

— Нет, — ответил Панкратьев, — двадцать лет, с 1921 по 1941 год, я не был в армии. Числился в запасе, а был районным агрономом в Тамбовской области.

— Наверное, вам на войне помогло то, что вы знаете крестьянскую психологию?

— Да, и колхозную, — сказал Панкратьев.

— А разве это две разных психологии? — улыбнулся мистер Лесли.

— Думаю, что разные, если условиться, что крестьянской психологией мы будем называть психологию единоличника, — в свою очередь улыбнулся Панкратьев. — Да. Я в общем неплохо знал психологию людей, которые пришли к нам из деревни. Это мне помогло, когда я стал командиром стрелковой роты, потому что две трети моих сол-

дат были из деревни. И, кстати сказать, заметьте себе: две трети, а не девять десятых, как это было в той армии, в которой я служил в 1914 году.

— Однако, вы до сих пор говорили о качественной разнице, а сейчас заговорили о количественной, — заметил мистер Лесли.

— Нет, я просто не договорил. Я только хотел добавить, что лицо нашей деревни так переменялось, что иногда трудно увидеть разницу между человеком городским и деревенским. Деревня наша механизирована. В числе этих двух третей ко мне приходили работники машинотракторных, ремонтных, селекционных станций, полеводы, зоотехники, колхозные счетоводы, словом, деревенская интеллигенция, понятие о которой почти отсутствовало в царское время. Если вы вдумаетесь, то почувствуете, какая в этом большая разница, принципиальная причем.

— Может быть, — кивнул головой мистер Лесли, — может быть. Но вы меня простите, если я вас прерву. Мне будет очень жаль, если сейчас войдут, скажут, что можно лететь, и мы так и не успеем договорить с вами, я вам не задал ещё самого интересного для меня вопроса.

— Слушаю вас.

— Вот вы, господин майор, говорили о некоторых фактах, быть может, существенных, и я не хочу сейчас спорить с вами, потому что у меня в руках меньше материала, чем у вас. Но вот, позвольте мне задать такой вопрос, который касается главного в человеке, а, значит, и в сол-

дите,—его души. Я надеюсь, что вы не настолько материалист, чтобы отрицать, что душа человека, его душевные силы, в конце концов, иногда оказываются тем, что решает.

— Я именно материалист, — улыбнулся Панкратьев, — и как раз поэтому знаю, какую роль для войны играют душевное воспитание и душевные силы солдата. По-моему, как раз ведь не у нас, а у вас на Западе выдвигали теорию роботов и механических армий. Мы в России никогда их не выдвигали.

— Так вот, господин майор, — сказал мистер Лесли, — если вы этого не отрицаете, чему я очень рад, то скажите мне, неужели при всех тех переменах, о которых вы сказали, неужели в душе русского солдата не играет попрежнему главную роль его исконная жертвенность, свойственная русскому характеру?

— Что вы называете жертвенностью? — поднял глаза Панкратьев.

— Ну, презрение к смерти, о которой так много у вас же писали, готовность легко пожертвовать собой, принести себя в жертву во имя идеалов, во имя своей родины.

— Во всём том, что вы сказали, я возражаю против слова «легко», — сказал Панкратьев.

— Почему?

— Потому что это не легко и никогда не было легко, и легко жертвовать собой — никогда не было исконным чувством русского человека и русского солдата. Всё, что вы мне сказали, — мне

кажется, не больше, как следствие того, что вы неправильно прочитали русскую литературу, хотя бы Толстого.

— Почему неправильно?

— Потому что вы прочли в «Войне и мире» Платона Каратаева и забыли обо всём остальном.

— Я не забыл обо всём остальном.

— Нет, вы забыли. Платон Каратаев добр, но русский народ, когда его рассердят, беспощаден. Платон Каратаев готов пожертвовать своей жизнью, но народ не готов пожертвовать ни своей жизнью, ни своей свободой, ни своей землёй, ничем. И поэтому, именно поэтому, 1812 год был катастрофой для Наполеона. Да, конечно, у нас умеют жертвовать жизнью, но у нас жертвуют десятками жизнями для того, чтобы истребить сто жизней врага и спасти сто жизней своих людей, а не потому, что любят вообще жертвовать жизнью и что это вообще легко и в характере русского человека.

— История иногда расходится с вами, — возразил мистер Лесли.

— Например?

— Например, хотя бы жертвенная история Севастопольской эпопеи в прошлом веке.

— Ну, что же, — сказал Панкратьев, — Севастопольская эпопея — это для нас пример русского мужества, но не пример наилучшего ведения войны.

— Однако, вы ею восхищаетесь и сейчас.

— Да, как примером мужества в тех невероятно

тяжелых и неравных обстоятельствах, в которые поставил тогдашний государственный строй и тогдашнее царское правительство сражавшуюся там русскую армию. Но если бы тогда против парового флота наших противников у нас тоже был паровой флот, а не парусный, и если бы наша артиллерия блистала не только качеством, но и количеством, и если бы у нас были уже построены железные дороги в такой же мере, как в Европе, и могла бы производиться своевременная переброска войск, то, может быть, весь ход войны был бы иной и не было бы этой Севастопольской эпопеи, которую можно назвать победой духа, но нельзя назвать вообще победой.

— Конечно, трудно проводить аналогии, — сказал мистер Лесли, — но, по-моему, в эту войну ваша защита Севастополя была тоже только победой духа.

— Видите ли, — усмехнулся Панкратьев, — есть у нас такая русская поговорка, простая, но очень хорошая: «Цыплят по осени считают». И сейчас, во всяком случае, от Севастополя до линии фронта больше тысячи километров по прямой. Прошло не так уж много времени после нашей обороны Севастополя, и теперь мы уже в Германии. Как вы помните, прошлая Крымская война, несмотря на героизм русского солдата, закончилась для России поражением. Вот вам и разница между защитой Севастополя в 1854—1855 гг. и обороной Севастополя в 1941—1942 гг. Но вы знаете, мне даже не хочется спорить об этом. Мне кажется,

я понял существо вашего вопроса и смогу вам на него ответить вполне дружелюбно, без всяких излишних препирательств.

Теория об истонной жертвенности русского солдата, мне кажется, возникла на Западе потому, что на протяжении почти всей истории русский солдат сражался в невыгодных для себя внешних материальных условиях.

То русских было 10 тысяч против 70 тысяч турок, как при Рымнике, то Суворов переходил через Альпы, преданный австрийцами, в одиночестве, отрезанный от баз снабжения. То, как во время Крымской кампании, русские солдаты, обокраденные царскими интендантами, должны были воевать раздетые и голодные, то в турецкую кампанию даже такая отсталая страна, как Турция, обладала вывезенным из Европы более современным пехотным вооружением, чем русские солдаты. То, наконец, в прошлую мировую войну, для того чтобы получить винтовку в руки, русские солдаты вынуждены были ждать, когда убьют их соседа, а у артиллеристов имелось всего по несколько снарядов на орудие для целого дня боя.

Несмотря на это, русская армия и русские солдаты в первую очередь всегда с честью выполняли свой долг. Они били турок при Рымнике, французских генералов при Нови, они одиннадцать месяцев обороняли развалины Севастополя, они, несмотря на новые турецкие ружья, подходили к Константинополю и, наконец, они, несмотря на гигантское превосходство немцев в силе огня и техники,

в 1914—1918 годах достойно противостояли врагу.

И вот тут родились два выражения: «Несмотря ни на что» и «Что бы там ни было». Несмотря ни на что, русский солдат стоял, до смерти не отступал и, что бы там ни было, поддерживала его артиллерия или не поддерживала, косили его пулемёты или не косили, он шёл в атаку. «Несмотря ни на что» и «Что бы там ни было», он воевал все равно храбро и хорошо. Из этого на Западе вывели теорию о нашей жертвенности. Неверная теория.

— Почему неверная?— сказал мистер Лесли.— Ваши слова только подтверждают, что эта жертвенность как раз была.

— Конечно, была, я не отрицаю того, что русские солдаты всегда умели жертвовать собой. Но ведь на Западе некоторые считают, что это стало чуть ли не их привычкой, чуть ли не их второй натурой, что они любят эту жертвенность, что это неотъемлемое их свойство. Я помню, как мы проклинали царя, министров, государственную думу, всё на свете, за то, что у нас было в 1915 году по одной винтовке на троих. Я помню, как мы чертыхались, считая патроны. Да, мы шли вперёд и всё-таки атаковывали, но мы проклинали тот строй, то государство, которое пыталось завоевать победу, кладя десятки наших жизней там, где можно было положить одну. И главная горечь, знаете, в чём заключалась? В том, что наша способность, несмотря ни на что, пойти в атаку и без патронов, — как бы вам сказать, при старом режиме

почти планировалась. Во время войны считалось, что благодаря этим незыблемым свойствам русского солдата можно меньше заботиться о количестве артиллерии, о своевременном подвозе снарядов, о достаточном масштабе изготовления патронов. Вот в чём была подлость. Вот почему, любя Россию, мы, солдаты, ненавидели тот режим, который в ней был.

— По-моему, — сказал мистер Лесли, — если вы уже заговорили об этом, то и в этой войне были минуты и, я бы даже сказал, месяцы, когда у вас было подобное же почти неравенство в силах — с немцами и когда ваши солдаты бросались под танк, обвязав себя гранатами. Нельзя сказать, что это — наиболее современный и рациональный способ борьбы с танками. Я усматриваю тут опасные для вас аналогии.

— А я тут не усматриваю никаких аналогий, — сказал Панкратьев. — То количественное превосходство в технике, танках и авиации, которое было у немцев в начале войны, это был факт, с которым мы не мирились ни на одну минуту. Наше правительство не сказало: «Ну, что ж, русский солдат всё вынесет». Наоборот, нам было сказано: «Держитесь, будет сделано всё для того, чтобы уравнять нашу армию с немцами и в танках, и в самолётах, а потом обогнать их и в этом». И это было не только сказано, но и сделано. И в то, что это будет сделано, мы, советские воины, верили с самого начала войны, как бы нам тяжело ни приходилось.

Старый русский солдат гордился тем, что он, что бы там ни было, а и содной винтовкой стоит против врага, у которого в пять раз больше сил, чем у него. На войне бывают разные обстоятельства, и в тех обстоятельствах, когда нашему советскому бойцу приходится, — а бывает так, что и в дни побед в каких-то случаях приходится, — стоять с одной винтовкой против в пять раз сильнеешего противника, он говорит: «Буду стоять и выстою, что бы там ни было». Но это частный случай и частные обстоятельства, которые, если даже они и повторялись тысячи раз на такой гигантской войне, всё же остаются частными случаями.

Советский солдат гстов к ним, когда он в них попадает, но он не имеет нужды привыкать к ним, привыкать к превосходству противника в технике, в количестве, в организованности.

Наоборот, с каждым днём советский солдат всё больше привыкал к тому, что и численность, и техника, и организованность на нашей стороне, на его стороне. Он готов драться, когда нужно, сам-друг с винтовкой, но он никогда не говорит: «Мы как-нибудь и так, сам-друг с винтовкой». Нет, он с гордостью смотрит на танки, идущие по дорогам, на орудия, на самолёты, летящие над ним, на всё, что сопровождает его в дни штурма. Он прорывает линию немецкой обороны, зная, что перед этим на неё обрушена такая огромная мощь нашего огня, какую только можно представить себе в современных условиях войны.

А если говорить о душе человека, то тут-то как раз и лежит самая большая разница. Русский солдат в старое время шёл на бой, чувствуя, что его мало берегут и о нём мало думают. Наш советский боец идёт сейчас в бой, зная, что может быть ему и придётся пожертвовать своею жизнью, но он также знает, что о нём думают, его жизнь берегут и делают всё, чтобы ее сохранить в условиях войны, в которых сохранить её так трудно. И когда нашему бойцу приходится тяжело, то, поверьте, что его не смущают никакие душевные сомнения. Он идёт по той жизненной дороге, которую выбрал себе сам. Он защищает свою родину-мать, мать, а не мачеху. А в этих случаях человек обычно никогда не приходит в противоречие с самим собой.

Как видите, мистер Лесли, я не настолько, как вы выразились, материалист, чтобы не думать о душе солдата. Мне кажется, я говорил о ней слишком много, так что вас утомил.

— Нет, отчего же, — сказал мистер Лесли. — Мне было так интересно слушать, что я вот уже час, как не курю и даже этого не заметил. Но только мне кажется, что вы несколько излишне критически отнеслись к прошлому России, более критически, чем это у нас в последнее время принято.

— Не знаю, — сказал Панкратьев, — я высказываю своё личное мнение. Мне кажется, что если уж говорить о свойствах русского характера, то одно из главных его свойств — это свойство отно-

ситься критически к тому, что было плохо в прошлом. Мы продолжаем хорошие традиции и никогда не поклоняемся плохим. Если, например, русский человек иногда и с голыми руками осиливал вооружённого врага, то мы готовы отдать должное его мужеству в прошлом, но отнюдь не собираемся делать это традицией.

Панкратьев замолчал и несколько раз затянулся папироской. В комнату заглянул дежурный по аэродрому.

— Приготовьтесь, погоду дали. Наверное, минут через пять можно будет идти к самолёту.

— Ну, вот, — сказал мистер Лесли, вставая, — мы и полетим.

Он посмотрел на часы.

— За разговором незаметно почти два часа прошло.

Панкратьев тоже поднялся.

— Да. И, по-моему, мистер Лесли, нам с вами уже можно выходить на лётное поле. Лётчик уже вышел.

— Пойдёмте, — сказал мистер Лесли.

— Надеюсь, я вас не задел резкостью некоторых своих суждений? — спросил Панкратьев уже на ходу.

— Нет, почему же, — сказал мистер Лесли, — я в свою очередь тоже довольно резко ставил вопросы.

— Ну, вот и очень хорошо, — сказал Панкратьев. — Стало быть, квиты. Я ведь не дипломат. Я — солдат. Как думаю, так и говорю.

По узкой железной лестнице оба вскарабкались в штурмовую кабину самолёта, и бомбардировщик быстро понёсся по лётному полю, оторвался и пошёл курсом на Москву.

2618/обр.

Редактор Воронова Р. М.

Технический редактор Еремеева Е. П.

Корректор Симонова М. Д.

Г800326. Подписано к печати 29.3.45. Изд. № 288. Объем $\frac{3}{4}$ п. л.
0,83 уч.-авт. л. В 1 п. л. 44 600 тип. зн. Зак. 184.

1-я типография Управления Воениздата НКО
имени С. К. Тимошенко

